

Сергей СОЛОУХ

LOVE INTERNATIONAL

Глава из новой редакции романа

Борьба с собственным текстом – естественное для художника занятие. Не беллетриста, от-рабатывающего задачу и соответствующего канону, а естествоиспытателя, ищущего смысл, ну, или бессмыслицу. Прекрасный наш, правофланговый граф, Лев Николаевич, не мог спокойно видеть своих букв. Лишь попадутся на глаза – сейчас же и перепишет. Слегка не наш, но тоже немисливо прекрасный Ивлин Во взял и переделал «Брайдсхед». Да. Огорчился из-из внезапной популярности и спроса на первое издание, решил, что это признак какой-то фальши, и вот – готово. Вторая редак-ция. Новый вариант. С тех пор только его и знаем.

Не минул и меня удел поэта, исследователя мира и души. Поскольку то, что виделось мне явным и понятным в моем романе Love International¹ 2021-го, вдруг обнаружилось, читателю таким не обязательно и кажется. А то, что из разряда как раз изящного намека или же умолчания для меня, наоборот, кричит почему-то и, главное, как-то не так у всех других. И я решил вернуться к тексту. В результате в нем не только появились тут и там стихи и песни, но еще и новая глава. Хорошая, большая. Настоящая. И девушка, до того лишь определявшая и направлявшая судьбы и жизни двух главных персонажей, сама стала третьим главным героем. Но, что важнее, связала все и всех. Ог-нем и страстью.

В общем, я думаю, Лев Николаевич бы одобрил. Надеюсь и вы, вы тоже, верные и неизменные мои читатели. Тем более, что сама глава перед вам. А новый вариант романа в процессе подготовки к публикации.

Впервые в жизни, среди своих, на митинге Сашу Кляйнкинд тошнило... среди флажков и лен-точек, среди прекрасных лиц и слов, на свежем воздухе... в организме девушки накапливались... зрели и поднимались рвотные массы...

Прямо перед Сашей, на расстоянии всего лишь вытянутой руки, ленивого плевка, вполсилы... бабка... в очках... в чудовищных очках с толстыми, жирными, сально блестящими на солнышке стеклами выкусывала из мяса живого, парного, еще теплого чебурека красно-желтые икринки... кусочки тыквы...

– Это очень, очень полезно... – при этом она еще мораль читала, когда не губами лезла в дро-жащее, слово у рыбы, от носа до хвоста распоротое чрево желтого чебурека, а пальцами... с ногтя-ми цвета мерзких... сиреневых... педагогических чернил...

– Как ты не понимаешь, Гриша, это же витамины... это же железо, магний, фосфор, кальций, калий... самое ценное... а мясо... что мясо... пустой белок... к тому же в данном случае полностью уже денатурированный...

Между тем, мальчик у шелестящей, волнующейся юбки бабки... маленький... лет шести, на-верное, или пяти, с лицом, потухшим от неизбывной безысходности... с привычной... тупой то-ской смотревший в небо, хотел именно этого самого... пустого и денатурированного... мяса...

– Бабушка, – повторял он с обреченным видом, с видом давно убитого и похороненного – Ба-бушка... не покупай, пожалуйста, больше узбекских... которые с железом... покупай, пожалуйста, только московские...которые с белком... пожалуйста, не покупай больше с железом...

¹ Сергей Солоух. Love International. М.: Эксмо, 2021. – (Русский Декамерон. Премияльный роман) – 352 с.

– Но это же настоящие... – долдонила свое зануда с глазами, плавающими в жидком стекле толстенных линз, – узбекские настоящие... а московские ненастоящие... а эти настоящие... и очень полезные для пищеварения...

– Я не хочу полезные... я не хочу с красными червячками... я хочу вредные без червячков...

– Я сейчас всех червячков уберу... уже не осталось... – сдаваться и не собиралась клуныя в самошитом платье и самовязанной летней шали-неводе... крупноячеистой... настырная, диктующая, требующая... вся правота и ясность... какого-нибудь нии... гипро- и гидро-маша... зубами, пальцами, и даже, казалось, носом, продолжавшая орудовать в безжалостно раскрытой миру требухе, чудовищные ее очки с перископическими, танковыми линзами ныряли и выныривали из слегка еще дымящейся утробы чебурека и от этого казались еще крупнее, жирнее и маслянистее.

Саша Кляйнкинд ничего не ела со вчерашнего дня, и пытку, которой подвергался ее несчастный организм, бесконечно отягчало и усиливало отчаяние... отчаяние и понимание полной... абсолютной безнадежности... Вырвать из рук внучка... из пасти мелкого... похожего одновременно и на моль... и на почиканный ей же самой носок... этот... едва надкушенный, лишь только-только сок сладкий давший чебурек, Саша могла... она была готова... но после очкастой бабки... и всех ее чудовищных манипуляций... прикосновения пальцев и омовений слюной... нет... невозможно... никогда...

И Сашу тошнило. Сводило скулы что-то кислое и едкое. И голова кружилась.

Когда-то она очень этого хотела. Именно этого. Простого токсикоза. Обыкновенной беременности. И эта мысль... воспоминание тоже лезло в голову... замешивалось в общий набор... в калейдоскоп дня...

Природа пышно увядала,
Нога Петрова усыхала
И локоток стоял сучком
На древе жизни молодом

Поэт писал много, необыкновенно много, легко, красиво, ярко, особенно сейчас, но это было первое стихотворение, которое Саша услышала в его собственном исполнении. Живом. Из этих уст... этих же самых, что она видела сейчас, поверх голов, очков и чебуреков, там, на импровизированной сцене, возвышении, среди прочих, похожих на чаек, галок и просто ворон, крылья раскинувших или сложивших под саблей, кнопкой или сушеной сливой носа. И только у Кирилла был греческий – прямой и тонкий... и губы как молнии... не птицы спящие, усталые...убитые... а быстрые, подвижные как две искры... как электричество в чистом его виде...

Даже когда он молчал... Ничего более выразительного Саша в своей жизни не видела... Губы молчащего Кирилла Рыкова. И на том давнем вечере в музее Маяковского... На который ей не слишком хотелось идти... Орден авторитарных чинаристов...

Какая глупая претенциозность.

Конечно... Саша знала, что когда-то... сто лет тому назад... в пору учебы Рыков принадлежал этому странному кругу... этим манерным и неверным людям из Литинститута... вычурным и неестественным... Но с тех... с тех пор он... Рыков... стал другим... совсем другим... самым простым, ясным и точным на этом свете... глашатаем, символом... маяком... буквально... ее собственным голосом...

Сложились уши, руки пали,
Ножки свернулись в две спирали,
Закрылся пуп как рыбий глаз
И в рот отправлен про запас.

Но поразительно, что запомнилось, запало в душу, как в детстве западали моментально строки матерных частушек, услышанных случайно во дворе, краем уха... как запоминались гадкие

анекдоты, рассказанные быстрым шепотом на ухо в классе, мгновенно, сразу... навсегда... самое стыдное... именно это стихотворение... из его давних... из его старых... из очень, очень древних... из тех, что он не читает больше нигде и никогда... и лишь для них... чинариков и чинарей... авторитарных-мажоритарных... но в сущности, бездарных... позеров-больше-ничего... стишок в той форме, которую они могли... обязаны были понять... примерить на себя...

В багрец и золото оделся хобот,
Грудь опоясал крепкий обод,
Стал виться копчик как вопрос
И словно ключик запер нос.

Прекрасно так преобразившись,
Зеленым теплым мхом покрывшись,
На семь поставивши часы,
Уснул Василий до весны.

Такие строчки... для людей... приятелей всех поголовно уже бывших... но позвавших, пригласивших... по старой памяти... в музей-квартиру Маяковского... и вызывавших теперь... требовавших... Кира... Кирилл... ну, выйди... выйди и ты к микрофону... давай... где пламень пунша голубой и няня с кружкой... в розовых чулочках...

Ну, рыкни... рыкни... Кирка... не ломайся... самое место... музей поэта-главаря... будь ты как дома... как дома будь... или занесся... загордился, а?

Нет, не занесся и не загордился... другим стал, но встал... встал и прочел, прочел... только не так, как делал всегда, напористо и энергично, все... небо и землю немедленно собою заполняя... все телевизионное поле какого-нибудь ток-шоу или же круглого стола... как может быть положено... уместно было бы... и правильно... в музее Маяковского... трибуна, громовержца, достающего... из широких штанин всегда и везде... а с нежным... с нежным, но очевидным ядом... негромко... прочел для людей, играющих в бирюльки... в игру, а не живущих жизнью... настоящей... малявок, карапузов, которых целый вечер слушал... как выросших детей... слушал, посмеиваясь... сверкая губами... горевшими... искрившимися, переливавшимися... одна в другую...

Встал... и сказал им правду. В лицо.

И тогда... именно тогда, в тот самый отпечатавшийся на веки в памяти со всеми ненужными словами и деталями вечер... вечер в доме-музее Маяковского... Саше Кляйнкинд захотелось, чтобы он ее узнал... Кирилл Рыков...

Но она к нему в тот вечер даже не подошла. Хотя это было так легко... совсем несложно сделать. Предельно просто. Элементарно... В фойе после концерта. Изящный, маленький, как пуля... и весь в черном... безукоризненный... Рыков стоял в нескольких метрах от Саши... человек из подлинного радио и телевизора... из телевизора будущего, где правда... только правда... а не понты и ложь отца... и позы, позы... па-де-катр дня... где все как надо... естественно и ясно...

Он... этот заряженный, как пистолет, человек, стоял совсем рядом... рядом... и снова ничего не говорил... опять лишь слушал... слушал... каких-то девушек в кавалеристских сапогах и юношей крикливых, словно лампасы галифе... и губы его, губы играли... светились в полутьме фойе... как будто кто-то непрерывно в толпе щелкал... крутил колесико зажигалки...

Кира... Кирилл. Всесильный, способный небо разорвать... или погладить... нежно... поэт, который уже не может стать отцом Саши... Саши Кляйнкинд, но мог бы... мог стать отцом... отцом ее ребенка... Два шага только сделать... три...

– Здравствуйте, Кирилл...

Но Саша Кляйнкинд не сделала... эти простые два... три... четыре... Она ушла... пошла к метро... двести шагов или же триста... совсем в другую сторону... прочь... потому, что была зима... а зимой она никого и никогда не могла очаровать... не ее время... маленького лягушонка... кусочка непропекшегося теста... тляп-ляп... нужно ждать лета... лета... открытой шеи... открытых плеч... рук обна-

женных... черт знает отчего заставляющих внезапно голову терять тех, кто и не должен... от воска, мыла... от Саши Кляйкин... и рваться в провожатые... в попутчики...

– Куда вам... о... так и мне в тут же сторону... сейчас такси закажем... одно мгновение... ну, или давайте на метро... конечно... еще лучше...

И эти двести или триста шагов, что вели ее к лестнице, к провалу, к перилам на стрелке улицы Мясницкой, к сквознякам всегда и неизменно зябких московских подземных переходов, Саша Кляйкин думала... Она думала о борьбе... И о внезапном желании не просто соединиться с кем-то... а не выпустить... в последнее мгновение... всеми мышцами и жилами... ног, живота... спины, груди... и даже рук... втянуть и задержать... зубами... не отпускать, не дать уйти... не дать отпасть... чтобы оставить... оставить в себе... в себе... всю силу взрыва...

Что это? Уступка природе или очередной вызов ей? Часть поступательного движения к преображению себя и мира... Или отказ от борьбы... бабское бабство... тупая гормональная пурга... или же вдохновение... предвестие... предчувствие какой-то... вот-вот готовой родиться мысли... революционного, бунтарского откровения...

И в это мгновение, в этот миг тотальной слепоты и погружения в самую себя, глаза, функционировавшие все это время независимо от мозга, бродившие и шлявшиеся сами по себе, мир поедавшие без толку, для собственного удовольствия, как хулиганы-мальчики мороженое, эти глаза послали Саше Кляйкин странный сигнал, в ее состоянии духа буквально инопланетный:

«Непокоева Марина Федоровна»

Что, что?

«Непокоева Марина Федоровна. Аксиологические константы драмы “вечной” любви (на материале русского классического романа). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.02.01».

На одном из складных столиков торговцев потрепанной, выдавшей виды литературой, расставленных в случайном, воровском порядке на тротуаре, от угла черного Библио-глобуса до столба с красной буквой «М», лежали тетрадки цвета промокашки. Много. Голубенькие, зелененькие, желтенькие. В навал и стопочками. И среди этого веера была одна с именем матери. Непокоева Марина Федоровна. Автореферат диссертации. На правах рукописи.

«Москва – 1989».

– Почем они у вас? – механически спросила Саша, у которой денег было ровно на одну пачку самого дешевого молока... мокрую и скользкую пластиковую медузу.

– Стольник любой, – охотно ответил некто в странных нитяных перчатках, с отрезанными по самый корешок пальцами. – Что-то заинтересовало?

– Нет... – ответила Саша. – Пока нет... Спасибо...

Вот... вот... это... это чистое бабское бабство... оно... когда ты в колее... когда все за тебя расписано и прописано... предрешено... кем-то и где-то... и ты послушно следуешь... соответствуешь вот этим... вот именно, что аксиологическим константам... а взрыв в себе оставить... принять назло тупому и расчетливому миру... и вырастить того, кому уже не стыдно будет за родителей... за папу с мамой... за их аксиологию и позу... это борьба... это вызов... жизнь подлинная... настоящая, а не ваша... на птичьих правах... да, да... «на правах рукописи»... на вечных правах рукописи... на правах чего-то... чего-то неродившегося... не решившегося ни на что... ни в какой жизни... ни в этой... ни в другой...

Да... да... не убить кого-то... себя... или другого... по правилам, по предписаниям... тупо шагая в ногу... не противясь... как там... злу... добру... чужому, главное... чужому, постороннему... а самому... родить, вот например... родить и перебить ритм повседневности... взорвать... дать жизнь... дать жизнь другому... прямому и правильному... своему... всем строевым и главным песням вопреки... назло...

Красные пальцы торговца ВАКовскими подтирками и промокашками шевелились перед глазами Саши, как сгнившее вымя этого мира... соски, полные прогорклой банальщины и кисшей пошлости...

Так и остались в памяти и теперь были частью стыда. Обиды за себя и за Кирилла. Маленького, изящного, как бюст Вольтера из черного металла. Фигурка чертика или же Дон Кихота. Только

стоящего сейчас не на книжной полке, в тиши томов, а на ветру, на сцене, там, впереди, над головами, плечами и чебуреками, как всегда в черном с головы до ног, рядом с огромным человеком, во всем цветном, поэтом-горой, несерьезным во всем, от ежедневных газетных стишков-фельетонов до игрового псевдонима – Кот Худой.

– Ну, если Лев Толстой, то кот, безусловно, должен быть худой... – это сказал Кирилл. Объяснил Саше в тот день, когда все стало стыдным. Любовь к его губам, любовь к его глазам... вообще, любовь...

Потому, что в ней не было правды... не оказалось. А лишь ирония... все то же шутовство...

Природа пышно увядала,
Нога Петрова усыхала
И локоток стоял сучком
На древе жизни молодом

Саша думала, что это только форма, такой вид издевательства приговора, а это оказалось содержанием. Сутью. И самое ужасное в тот самый миг, когда он приобнял ее за плечи... наконец... и ласково повернул к себе в свете вечерних фонариков Чистопрудного бульвара. Единственный из всех ее провожатых последних лет, что был Саше вровень и впору... мог не за шею ее вести... не у ноги, как песика, а приобняв за талию... прижав плечо к плечу и глядя глаза в глаза...

И было лето... сарафанное лето... лето открытой шеи... открытых рук... двух теплых, светящихся в полумраке припухлостей под легкой, полупрозрачной тканью... и девушке, подошедшей к столу с вином и книгами, охотно говорят:

– Присаживайтесь... хотите кофе или, может быть, коньяку...

Разговора... разговора о главном, о самом важном...

– Кирилл, а кем были ваши родители... как вы справлялись с этим... как вы преодолели...

И губы, которые так выразительно молчали, заговорили... еще выразительнее... заулыбались, засверкали... открылись... для нее... лишь для нее одной... Саши Кляйнкинд...

Но кончилось это ужасно. Отвратительно. И не под низкими, душащими сводами старого, наверное, времен еще Ивана Грозного подвала, Пирог, Проект ОГИ, Билингва, Саша уже не помнила теперь название того клуба с ежедневной поэзией в Потаповском переулке, да и не важно, потому что стихи... и снова ей одной... только ей... Кирилл стал читать на Чистопрудном... на свободе... под бездонным небом... там, где вечерние фонарики, посланцы Млечного пути... звездочками переливаются в черных хрусталиках глаз...

– И все-таки... вы верите в преображение? В то, что можно самого себя сделать? Перековать в борьбе?

– О, Александра... конечно, можно в борьбе, в борьбе всенепременно можно... но можно и во сне...

– Во сне? Это в каком смысле?

– Ну, вечер уже... заметили? Время горизонтального положения... полетов в другие измерения... Хотите стишок прочитаю...

Сложились уши, руки пали,
Ножки свернулись в две спирали,
Закрылся пуп как рыбий глаз
И в рот отправлен про запас.

В багрец и золото оделся хобот,
Грудь опоясал крепкий обод,
Стал виться копчик как вопрос
И словно ключик запер нос.

Когда Саша услышал это вновь, и обращенное не к людям, весь вечер несшим глупости и чушь, кривлякам и позерам, а к ней, прямой и честной, весь вечер изливавшей душу как на духу, как перед богом... сердце ее остановилось...

– Вы шут, Кирилл... вы шут, оказывается... как все... как все...

И она сбросила его руку... скинула... и быстро... очень быстро пошла к станции метро... не оборачиваясь... к узким колоннам и широким окнам бывшей Кировской... светившимся... манившим ненужным никому теплом... там впереди... там... среди лета... там...

А потом... потом она просто побежала, потому что вдруг послышалось... почудилось... девушке... Саше Кляйнкинд... что Кирилл Рыков стал ее догонять...

Через неделю или две Саше начало казаться, что это был не приговор, не оскорбление, а наваждение. Наваждение.

Прекрасно так преобразившись,
Зеленым теплым мхом покрывшись,
На семь поставивши часы,
Уснул Василий до весны.

Нет... не может быть. Так шутят только с чужими... со своими возможна только прямота... прямота и серьезность... И она вновь стала искать с ним встречи... с Кириллом Рыковым... И снова стала думать, что он обязан... просто должен... ее узнать... ее понять и оценить... Сашу Кляйнкинд...

Но больше не получалось... не удавалось...

Кира, Кирилл, казавшийся так долго доступным, близким, стоит только на лекцию пойти, на вечер, на концерт... в клуб... в дом-музей... квартиру-сквот... или поехать на дачу в Переделкино... словно уехал в другой город... в страну иную... и Саша его могла видеть теперь лишь в телевизоре... между отцом и новостями... или на сцене... как рок-звезду... всегда на возвышении и в окружении... то ли охранников, то ли поклонников, то ли журналистов...

Между тем, пришло время Кота Худого. Человека настолько большого и неумеренного во всем, что он мог ходить только в частично разобранной, распоротой и распатроненной одежде – в чем-то без рукавов, штанин или союзки – жилетах, шортах и сандалиях. Таким он и вышел к микрофону, с выпадающими из разных дыр объемными и волосатыми конечностями и пальцами. И стал, по моде этого сезона, читать чужие стихи:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.

– Высер сегодня в ударе, – кто-то радостно объявил за спиной Саши Кляйнкинд.

– Да, жжет, пархатый, не по-детски... – сладко поддакнули в ответ, и Саше снова стало тошно.

Она обернулась. Сзади стояли и криво ухмылялись, нет, лыбились, словно два рыжих брата, очкарики. Акробаты. Один с анекдотическим, горбатым, попугайским носом, а второй вообще с ермолкой на темечке. Подкладочкой под чашку кофе из ИКЕИ, круглой салфеточкой, приколотой к жестким кудрям парочкой черных, теткинских невидимок.

И это он... именно он... вот этот самый, с цветастой крышечкой от чайника на черепе сказал «пархатый»... Шуты проклятые... шуты... комедианты... идиоты...

Когда Саша ставила на всем крест. Когда уходила из семьи. Когда всю свою жизнь перекраивала и меняла, она думала, была уверена, не сомневалась ни одной секунды, что с этого момента, теперь, ее будут окружать только красивые люди. Только. Исключительно.

Хорошие, добрые, честные. И серьезные. Очень серьезные...

А не уроды и шуты. Коверкающие с дебильным вдохновением второгодников и двоечников фамилии товарищей или учителей. Или поэтов.

Виктор Цисер. Высер. Кот Худой. Как это мерзко. Мерзко и подло. И прямо у Саши за спиной. Здесь и сейчас.

Однако, и то, что происходило впереди, перед глазами, не прилетало из-за спины обрывками фраз, а развертывалось в объеме и цвете прямо под носом у Саши, было ничем не лучше. Нисколько. И вызывало тошноту уже физическую. Слюнотечение, потоотделение и головокружение.

У бабки оказались в запасе еще два чебурека. У гримзы в очках с линзами-колбами, лабораторными автоклавами, в которых болтались... плавали серая радужка и черный зрачок, как это самое... денатурированное мясо...

– Гриша, ты ел четыре часа тому назад... Мама тебе и мне сделает выговор... мама нас больше не отпустит в город...

Мама...

Как Немезида качалась перед лицом мелкого. В образе жареного, пупырчатого теста, к которому лип, хотел соединиться и впитаться, словно из сала сделанный полиэтилен прозрачного пакета.

– Ты съел совсем нискобочко... нужно еще один... еще один...

– Я не хочу с червячками... я не хочу с червячками... не хочу...

– А я их уберу... сейчас все уберу... не будет червячков... всех вытащим... смотри...

Толстые пальцы с чернильными ногтями раскрыли пакет... но испаскудить продукт питания не успели... залапать, облюбить... красу и гордость узбекских кулинаров с видом на жительство в Москве... два.. два желтых, свежих, еще теплых чебурека...

Движенья Саши Кляйнкинд были молниеносными и точными... А скорость пожирания чемпионской. Оп-ля... и изумленные глаза внука стали таких звездных размеров, как будто теткинны очки слетели бабочкой и сели ему точно на нос.

– А кока-колы не брали? – спросила Саша, возвращая бабке в домашней летней шали пустой полиэтиленовый пакет. – Запить?

– Или айрана, кумыса, катыка? Бутылочку? Случайно?

Но, кажется, дар речи оставил женщину с трехцветным сердечком, ленточкой и яблочком значка на самошитом платье. Речи любой. Даже собачьей... нечленораздельной... Или же пузырьковой, рыбьей... Был выкушен надолго, может быть навсегда из ее тела, как червяки из мяса чебурека... Сашей Кляйнкинд...

– Не брали? И напрасно... честное слово... надо обязательно в следующий раз... в айране столько ценных веществ... железо, магний, фосфор, кальций, калий...

А митинг шел своим чередом. Кота Худого у микрофона сменил бард... Автор забытых песен, снова обретших вдруг смысл и актуальность:

У попа кухарка пела
Обещала ему смело
Долго, долго воду лить.

– Спасибо! – сказала Саша. – Большое спасибо...

И быстро пожала ошалевшей бабке без дела болтавшуюся руку с сизыми, старушечьими ногтями... а после, полуприсев, и внуку... царственно... и тому, и другому, как будто бы потерявшим вместе с речью еще и волю... и, кажется, готовым в добавок к этому – сознание...

А потом, такое дело,
Долго жить ему вела,
Приказала долго жить.

К черту. Саша развернулась. Раздвинула двух рыжих братьев, так и топтавшихся у нее за спиной. Очкариков в веснушках. Шушукавших. И двинулась отсюда... прочь... с идиотским и не понятным даже ей самой чувством удовлетворения. Глубокого и полного. Словно и в самом деле Кирилл Рыков ее узнал... Сегодня...